

И.А. Бунин  
ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ

В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими чёрными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казённая почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами.

На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьёзный и темноликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик-военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, ещё чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.

Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы.

– Налево, ваше превосходительство, – грубо крикнул с козел кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошёл в сенцы, потом в горницу налево.

В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом; ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи; из-за печной заслонки сладко пахло щами – разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом.

Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался ещё стройнее в одном мундире и в сапогах, потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провёл бледной худой рукой по голове – седые волосы его с начесами на висках к углам

глаз слегка курчавились, красивое удлинённое лицо с тёмными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы.

В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы:

– Эй, кто там!

Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже ещё красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с тёмным пушком на верхней губе и вдоль щёк, лёгкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под чёрной шерстяной юбкой.

– Добро пожаловать, ваше превосходительство, – сказала она. – Покушать изволите или самовар прикажете?

Приезжий мельком глянул на её округлые плечи и на лёгкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:

– Самовар. Хозяйка тут или служишь?

– Хозяйка, ваше превосходительство.

– Сама, значит, держишь?

– Так точно. Сама.

– Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведёшь дело?

– Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.

– Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.

Женщина все время пытливо смотрела на него, слегка щурясь.

– И чистоту люблю, – ответила она. – Ведь при господах выросла, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич.

Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел.

– Надежда! Ты? – сказал он торопливо.

– Я, Николай Алексеевич, – ответила она.

– Боже мой, боже мой! – сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на неё. – Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать пять?

– Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?

– Вроде этого... Боже мой, как странно!

– Что странно, сударь?

– Но всё, всё... Как ты не понимаешь!

Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:

– Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?

– Мне господа вскоре после вас вольную дали.

– А где жила потом?

– Долго рассказывать, сударь.

– Замужем, говоришь, не была?

– Нет, не была.

– Почему? При такой красоте, которую ты имела?

– Не могла я этого сделать.

– Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?

– Что ж тут объяснять. Небось помните, как я вас любила.

Он покраснел до слёз и, нахмуясь, опять зашагал.

– Всё проходит, мой друг, – забормотал он. – Любовь, молодость – всё, всё. История пошлая, обыкновенная. С годами всё проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о воде протекшей будешь вспоминать».

– Что кому бог даёт, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь – другое дело.

Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:

– Ведь не могла же ты любить меня весь век!

– Значит, могла. Сколько ни проходило времени, всё одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот... Поздно теперь укорять, а ведь, правда, очень бессердечно вы меня бросили, – сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всём прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня – помните как? И всё стихи мне изволили читать про всякие «тёмные аллеи», – прибавила она с недоброй улыбкой.

– Ах, как хороша ты была! – сказал он, качая головой. – Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?

– Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.

– А! Всё проходит. Всё забывается.

– Всё проходит, да не всё забывается.

– Уходи, – сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. – Уходи, пожалуйста.

И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:

– Лишь бы бог меня простил. А ты, видно, простила.

Она подошла к двери и приостановилась:

– Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну да что вспоминать, мёртвых с погоста не носят.

– Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей, – ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом. – Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твоё самолюбие, но скажу откровенно, – жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня ещё оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал, – пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести... Впрочем, всё это тоже самая обыкновенная, пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни.

Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у неё.

– Прикажи подавать...

Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелестна была! Волшебна прекрасна!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у неё руку, и тотчас стыдился своего стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?»

К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцой, всё меняя чёрные колеи, выбирая менее грязные, и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьёзной грубостью:

– А она, ваше превосходительство, всё глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать её?

– Давно, Клим.

– Баба – ума палата. И всё, говорят, богатеет. Деньги в рост даёт.

– Это ничего не значит.

– Как не значит! Кому ж не хочется получше пожить! Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута! Не отдал вовремя – пеняй на себя.

– Да, да, пеняй на себя... Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду...

Низкое солнце жёлто светило на пустые поля, лошади ровно шлёпали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал:

«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! „Кругом шиповник алый цвёл, стояли тёмных лип аллеи...“ Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил её? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»

И, закрывая глаза, качал головой.